

Пути, судьбы деревни — одна из ведущих тем в творчестве известного советского писателя Бориса Можаева. Его статьи, очерки о крестьянстве не раз печатали «Правда». Сегодня в прессе, телевидении, на митингах кипят страсти вокруг форм собственности на землю, проблем кооперации, агропромышленной интеграции, перехода деревни к рынку. Многие читатели газеты, оппоненты или поклонники творчества Б. Можаева, интересуются и его мнением на сей счет.

Далеко не бесспорны взгляды писателя, изложенные в очерке «Мужик». Но это — его позиция. Наше с вами право — разделять ее или не разделять.

БЫЛ Я ЛЕТОМ на юбилее Твардовского, в его родном Загорье. Много народа съехалось со всех концов страны поклониться тому «туголу земли», где провел свое детство и юность наш народный поэт.

Я знал его, встречалася с ним, говорил о том, о сем... И теперь, вспоминая эти встречи, дивлюсь тому, что почти все они запали в душу, даже самые пустяковые. У него было одно редкостное достоинство — значительность жеста и слова в любовь беседы и даже в шутке. Когда-нибудь, даст бог, я напишу про Льва Толстого — настоящий мужик.

Мужик... Какое емкое, корневое слово даже для богоугодного русского языка! Он и работник, и хозяин, и татаробец, и в поле женец, и на дуде играец. Как мне хотелось посмотреть на тот дом, где вырос поэт, на все подворье, воскращенное из небытия золотыми руками брата его Ивана Трифоновича!

Видел я и дом Твардовских, и хозяйственное строение. Все меня взволновало:

прочный уклад жизни, опрятность, ухоженность и... скромность. Маленькая бревенчатая изба, примерно такая же, как у Есенина; я замерил ее — шесть на шесть метров. В нашей местности, в приокских селах, такие избы назывались «весьмишарниками».

Богатые люди в них не жили. Небольшой дворик для скотины, миниатюрные сени, сарник для сена и соломы и совсем игрушечная кузница, похожая на баньку... И в этой избе, мастерски покрытой соломой «под глину», на тридцати шести квадратных метрах жили, работали, мужики, творили, наконец, восемь человек взрослых и подрастающих ребятишек. И это кулаки?

Мне вспомнился донос одного известного поэта на Твардовского, когда, наконец, убирали из журнала этого кулачного ставленника! Впрочем, и Есенин поносил как кулачного поэта. Слава Богу, у Есенина хоть родственников не тронули. А Твардовских, от малых до старых, всех согнали в «сырые пропасти земли». Вспомнились трагические страницы из книги Ивана Трифоновича Твардовского, так и просится под перо — «облитые горечью и слостью». Увы. Злости в них нет, — горечь, недоумение, печаль.

А еще мне невольно вспомнились картины детства... Раскачивали нашего соседа — Якова Васильевича Кирюшина. У него была такая же изба-весьмишарница, но обнесенная обширным стеклянным павильоном. Он был фотографом, хорошо зарабатывал. И это было главным, собственно говоря, памятником — отобразить два фотоаппарата, а самому «ослосать во след», как выражались активисты от властей.

Вспомнили я и рассказ моего доброго старого товарища, Филиппа Сергеевича Каткова, — как он в Пине (соседнее с Питерином село) по приказу свесы раскачивали псаломщика. И у того было все ту же весьмишарница... Конфисковали самовар, пока несли в сельсовет, у него «дудка» отвалилась, то есть кран...

Разумеется, и в достатке жили в наших селах крестьяне, и даже богато. Но этих-то за что? Кузнец, фотограф, псаломщик? А за то самое... Одна четка хочешь отковать мог, да еще книжки читал, одевалася «чисто». Другой — черной трикотажной накроется, поглядит на тебя в стеклышико, аппаратом щелкнет и — деньги плати; третий — весь псацты, наизусть шпарил, Богу служил! Это каково перенести человеку, который не наследил ни особыми знаниями, ни мастерством, а состоит при исполнении служебных обязанностей? Перенести спокойно такое «неравнество» никак невозможнно. Такое «неравнество» надо «сунуться», как говорили активисты тех времен. А всех насостителей, так сказать, этого неравенства «сослать во след», куда Макар теперь не гонял.

Зависть и ненависть... Эти порочные страсти-близнецы, которые так упорно и долго гасили нашу религию, вспыхнули страшными полымями семидесяти лет назад и до сих пор терзают наше многострадальное Отечество.

Российская национальная трагедия... Она начиналась еще с хлебных и военных бунтов в феврале семидесятого года, красным петухом заплещась по гребням крыши барских поместий, разбросанных на нехваточных просторах российских равнин, и, прокалившись в горячих политических логузонов в октябре семидесятого года, смертоносной лавой смела и Временное правительство, и Учредительное собрание — последнюю надежду на благородные терпимости, порядок. И пошла писать губернаторам...

НАСИЛИЕ в голове виде разгуливала с расказыванием, раскачиванием восемнадцатого года, с подавлением тамбовского восстания и кронштадтского мятежа, с расстрелянными заложниками в Москве, Петрограде, с концлагерем в открытом поле за колючей проволокой в уездах Тамбовской губернии, с расстрелом женщин, стариков и детей на сельских площадях, в церкви и молельных домах... И потом, у насилии двадцать девятого года, из спорадических кампаний насилия перешло в открытый геноцид коренных народов Российской империи.

В этой сатанинской всепокиравющей оргии, как хвост, скорила и русская интеллигенция, и дворянство, и казачество, и купечество, и деловые люди из банков и от стаканов; и наконец огненная стихия добрались до столового хребта государства, до его столбовой опоры — до мужика. С деревней возились дольше всего; да и то сказать — в обмолот пошло доселе неистребимое и самое многочисленное племя крестьян, пуповиной связанные с землей-матерью. Обрезали и эту связь... Поднялись в суматошном толче Черным облаком и крестьянство, и разнесло его продувными ветром истории во все пределы человеческой деятельности. А земля с той стороны оскрепела и стала беспзорной.

Дело в том, что крепкий мужик, как и фабричный мастеровой, немыслимы без частной или акционерной собственности; без участия в распределении прибылей, без самостоятельных хозяйств на земле. Вспомните статистику двадцати седьмого года! Три миллиона кустарей давали треть часть валовой продукции всей промышленности. Не могут они — ни классовые специалисты, ни истинные хлеборобы быть придаточным звеном, винтиками или косметиками ко всепокиравшему чиновничье-

му механизму. Мне могут возразить: так притерпелись же, притерпелись за последние шестьдесят лет. Чертя что? Да если бы притерпелись, то не завозили бы мы ежегодно из-за границы по сорок миллионов тонн зерна, не развели бы под открытым небом стальные ребра гигантских долгостроев, не выискались бы на городских свалках горы ломовьевидных плит и опор.

Еще лет двадцать пять тому назад тогдашний первый заместитель премьера Полянский сетовал мне в своем обширном кремлевском кабинете: «Что мы творим? Кам подумали: стояли выше, больше, чем Америка, и цемента больше производим. Но объем строительства в Америке почти вдвое больше нашего. И у них хватает цемента и стали, а у нас не хватает». — «Но почему мы так притерпелись? И теперь, вспомнив эти встречи, дивлюсь тому, что почти все они запали в душу, даже самые пустяковые. У него было одно редкостное достоинство — значительность жеста и слова в любовь беседы и даже в шутке. Когда-нибудь, даст бог, я напишу про Льва Толстого — настоящий мужик.

А сейчас хочу подчеркнуть лишь одну особенность этого незаурядного человека — он был крупный, несколько медийный в движениях, а точнее величавый, властный и неожиданно скорый на бойкую шутку. Глядя на него, я всегда вспоминал высшую похвалу Льва Толстого — настоящий мужик.

Мужик... Какое емкое, корневое слово даже для богоугодного русского языка! Он и работник, и хозяин, и татаробец, и в поле женец, и на дуде играец. Как мне хотелось посмотреть на тот дом, где вырос поэт, на все подворье, воскращенное из небытия золотыми руками брата его Ивана Трифоновича!

Видел я и дом Твардовских, и хозяйственное строение. Все меня взволновало:

прочный уклад жизни, опрятность, ухоженность и... скромность. Маленькая бревенчатая изба, примерно такая же, как у Есенина; я замерил ее — шесть на шесть метров. В нашей местности, в приокских селах, такие избы назывались «весьмишарниками».

Богатые люди в них не жили. Небольшой дворик для скотины, миниатюрные сени, сарник для сена и соломы и совсем игрушечная кузница, похожая на баньку... И в этой избе, мастерски покрытой соломой «под глину», на тридцати шести квадратных метрах жили, работали, мужики, творили, наконец, восемь человек взрослых и подрастающих ребятишек. И это кулаки?

Мне вспомнился донос одного известного поэта на Твардовского, когда, наконец, убирали из журнала этого кулачного ставленника! Впрочем, и Есенин поносил как кулачного поэта. Слава Богу, у Есенина хоть родственников не тронули. А Твардовских, от малых до старых, всех согнали в «сырые пропасти земли». Вспомнились трагические страницы из книги Ивана Трифоновича Твардовского, так и просится под перо — «облитые горечью и слостью». Увы. Злости в них нет, — горечь, недоумение, печаль.

А еще мне невольно вспомнились картины детства... Раскачивали нашего соседа — Якова Васильевича Кирюшина. У него была такая же изба-весьмишарница, но обнесенная обширным стеклянным павильоном. Он был фотографом, хорошо зарабатывал. И это было главное, собственно говоря, памятником — отобразить два фотоаппарата, а самому «ослосать во след», как выражались активисты от властей.

В это уж точно, весело живем. Только от такого веселы и лодыши дуют. А нам все нипочем: до сих пор перестраиваемся... с боку на бок, как медведь в берлоге.

Сейчас я иду в гости к Борису Можаеву.

Сейчас я иду в гости к Борису Можаеву.